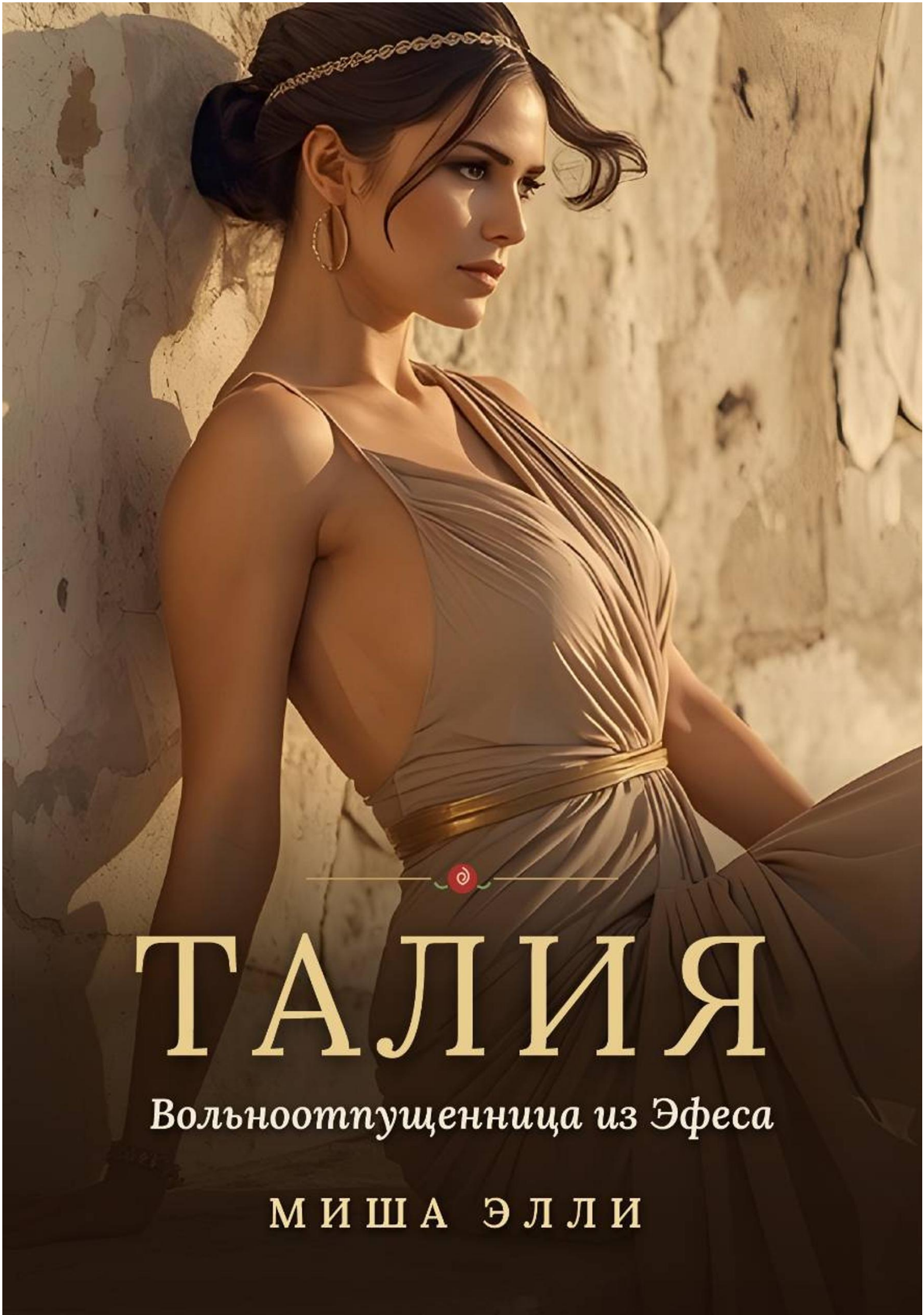


ТАЛИЯ

Вольноотпущенница из Эфеса

МИША ЭЛЛИ

Миша Элли

Талия. Вольноотпущенница из Эфеса

«Автор»
2026

Элли М.

Талия. Вольноотпущенница из Эфеса / М. Элли — «Автор», 2026

Родос, II век. Дочь винодела Талия теряет всё за одну ночь: морские разбойники сжигают её селение и увозят девушку за море. Отца она больше никогда не увидит. На невольничьем рынке Эфеса, великого города Азии, её покупает богатый торговец гарумом, и её место теперь у зловонных рыбных чанов.Но у Талии остаётся то, чего не отнять: уроки матери о травах и соли, слова отца о корне, который цел, и деревянная птица, вырезанная для неё умирающим рабом. Шаг за шагом она добивается того, о чём рабыня не смеет и мечтать, — свободы, собственного дела и любви зодчего, который строит знаменитую библиотеку.Повесть о силе духа, верности себе и цене свободы — на фоне живого, шумного Эфеса времён императора Адриана.

© Элли М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Из неволи 6
Глава 1. Остров роз 6
Глава 2. Гавань Эфеса 9
Глава 3. Рыбные чаны 12
Глава 4. Ночные сосуды 15
Глава 5. Янтарный рассол 18
Конец ознакомительного фрагмента. 19

Миша Элли
Талия. Вольноотпущенница из Эфеса

Талия
Миша Элли
Повесть
© Миша Элли, 2026

Часть первая. Из неволи

Глава 1. Остров роз

Родос просыпался рано. Едва над морем светлело небо и первые лучи Гелиоса, бога-покровителя острова, касались белых стен Линда, в селении у подножия акрополя уже скрипели двери, перекликались петухи и рыбаки тянули к воде свои лодки. Талия любила эти часы больше всего. Она выбегала босиком на плоскую крышу отцовского дома, садилась на тёплые ещё с вечера камни и смотрела, как солнце выходит из воды — огромное, красное, будто его только что вынули из кузнечного горна.

Отец её, Феокл, держал небольшой виноградник на склоне горы у самого моря.

Он был человеком немногословным, с тяжёлыми руками земледельца и добрыми глазами, в уголках которых от постоянного прищура на солнце залегли глубокие морщины. Читать и писать он не умел, но знал наизусть все приметы погоды, помнил, в какой год какое вино удалось, и мог по запаху земли сказать, когда пора подвязывать лозу.

Мать её умерла давно, от лихорадки, в одну из сырых зим, и от неё в доме остались лишь ткацкий станок у окна, бронзовое зеркальце да глиняные горшочки на полке, в которых она хранила сушёные травы. Но остались и её уроки. Мать была родом из рыбацкой деревни на другом берегу острова и умела то, чего не умела ни одна соседка: из самой простой снеди — горсти рыбы, щепоти соли, пучка травы — она делала кушанья, о которых потом говорили на свадьбах и поминках. Маленькая Талия часами сидела рядом с ней у очага и запоминала: тимьян даёт горечь и стойкость, розмарин — смолистый дух, а капля доброго вина смягчает любую резкость, «как ласковое слово смягчает сердитого мужа», — смеялась мать.

— Запомни, дочка, — говорила она, растирая в ступке пахучие листья, — соль сохраняет, а травы оживляют. Без соли всё гниёт, без трав всё мертво. Так и в жизни: нужна и твёрдость, и нежность.

Тогда Талия ещё не понимала глубокого смысла этих слов. Понимание пришло позже.

Иногда, сидя за станком, мать пела. Чаще всего — одну короткую песню, которую на островах, кажется, знала каждая ткачиха. Сложила её семь веков назад поэтесса с острова Лесбос по имени Сапфо, и с тех пор песню передавали от матери к дочери вместе с челноком и пряжей. Мать пела тихо, не отрываясь от работы, и нить в её руках бежала в лад со словами:

Милая матушка,

я не могу больше ткать:

нить ускользает из рук,

замирает челнок.

Нежной Киприды волей

томится сердце моё

тоской о юноше стройном.

— А кто такая Киприда? — спрашивала Талия.

— Афродита, — смеялась мать. — Богиня любви. Её так зовут, потому что она вышла из морской пены у берегов Кипра.

— А почему девушка не может ткать?

— Вырастешь — узнаешь, — отвечала мать и снова бралась за челнок.

Талия только пожимала плечами: какой юноша стоит того, чтобы бросить станок на полдороге? Но песню запомнила — всю, до последнего слова, вместе с материнским голосом.

Когда выдавался свободный день, отец брал её с собой в город Родос, на северную оконечность острова. Дорога была долгой, и они выходили затемно, ведя за собой осла, навьюченного кувшинами с вином на продажу. Город всякий раз поражал Талию: широкие прямые улицы, проложенные ровно, как по шнуру землемера, храмы на холме, корабли со всех концов света в просторных гаванях. Здесь звучали все языки мира: египетский, сирийский, финикийский, латынь римских купцов.

Но больше всего она любила одно место у гавани. Там, среди бурьяна и диких маков, лежали исполинские бронзовые обломки, позеленевшие от времени и морской соли. Это было всё, что осталось от Колосса — великого изваяния Гелиоса, некогда стоявшего над входом в гавань и считавшегося одним из чудес света. Много веков назад землетрясение переломило его у колен, и с тех пор никто не решился поднять великана. Говорили, что так велел оракул.

Талия подходила к огромному бронзовому пальцу, лежавшему в траве, и пыталась обхватить его руками. Руки не сходились.

— Видишь, — говорил отец, — даже то, что сделано на века, падает. Только море да солнце вечны.

— А люди? — спрашивала она.

— Люди — как лоза, — отвечал Феокл, поглаживая бороду. — Срежешь — а она по весне снова даёт побег. Если корень цел.

Потом они шли на рынок, где торговцы встречали отца привычным «Хайре!» — «Радуйся!», как испокон веков приветствуют друг друга эллины, — и отец продавал вино, а на вырученные деньги покупал дочери медовую лепёшку и моток крашеной шерсти. Талия ткала тонкие плащи на материнском станке, и соседки говорили, что у девочки золотые руки. Иногда отец, уже на обратном пути, останавливал осла на перевале, откуда было видно полморя, и долго молчал, глядя на синие очертания малоазийского берега.

— Там Азия, — сказал он однажды. — Большие города. Эфес, Милет, Смирна. Говорят, в Эфесе храм Артемиды больше любого храма на свете, а на рынке продают всё, что только есть под солнцем. Даже людей.

— Даже людей? — переспросила Талия, и ей стало зябко, несмотря на жаркий день.

— Даже людей, — кивнул отец. — Но тебе-то что до того? Ты родосская девушка, свободная. Выдам тебя замуж за хорошего человека, будешь ткать плащи и растить детей.

Он засмеялся и тронул осла хворостиной. А Талия ещё долго оглядывалась на далёкий берег, будто чуяла, что он ей не чужой.

В ту осень виноград уродился на славу. Тяжёлые кисти гнули лозу до земли, и Феокл, обычно скупой на радость, ходил по винограднику и улыбался в бороду. Сбор начали в последние дни месяца, когда ягоды налились до черноты. Талия с утра до вечера носила корзины к давильне, ноги её были красны до колен от виноградного сока, а по вечерам соседи собирались под старой смоковницей, пили молодое вино и пели песни, такие же древние, как сам остров.

Беда пришла в одну безлунную ночь.

Талия проснулась от собачьего лая. Сначала залаяла одна собака на окраине селения, потом другая, потом все разом, захлёбываясь, как перед грозой. А следом раздался крик — долгий, страшный, внезапно оборвавшийся. Отец вскочил с ложа, схватил тяжёлый садовый нож, которым срезал лозу, и бросился к двери.

— Сиди здесь! — крикнул он дочери. — Не выходи, что бы ни было!

Это были последние слова, которые она от него услышала.

Потом она много раз пыталась вспомнить ту ночь по порядку — и не могла. Память сохранила лишь обрывки, как осколки разбитого кувшина. Багровые отсветы факелов на стенах. Треск горящей соломы на крыше соседского дома. Чужая гортанная речь. Плач детей. Чья-то грубая рука, которая вытащила её из-под ткацкого станка, где она спряталась, и запах — запах пота, смолы и вина, которым несло от этих пришлых людей.

Морские разбойники. О них на Родосе давно уже рассказывали лишь старики — с тех пор как римские флоты, ещё при великом Помпее, очистили море от пиратских гнёзд, люди привыкли жить у воды без страха. Но море большое, и в его глухих бухтах, на скалистых берегах Киликии и Крита, всё ещё прятались те, для кого чужая жизнь была лишь товаром. Они пришли тихо, на длинной узкой лодке без огней, и ушли до рассвета, унося с собой всё, что можно было продать: вино из давилен, бронзовую посуду, овец — и людей.

Отца она больше не видела. Когда её, связанную, волокли к берегу, она в последний раз оглянулась на свой дом и увидела у порога, в свете горящей крыши, что-то тёмное, неподвижное, похожее на брошенный мешок. Она закричала, рванулась — и получила такой удар по голове, что мир погас.

Очнулась она уже в море. Лодка шла на вёслах, тяжело переваливаясь на волне, а на дне её, между кувшинами и мешками, лежали вповалку пленники — девушки, мальчишки, двое крепких парней с разбитыми лицами. Кто-то тихо стонал. Кто-то молился вполголоса Гелиосу и Афине Линдской. Талия лежала с открытыми глазами и смотрела, как над ней медленно бледнеют звёзды. Родос уходил за корму, становясь всё меньше и меньше, пока не превратился в тонкую синюю полоску, а потом и вовсе растаял в утренней дымке.

Она не плакала. Слёзы придут позже. А сейчас в ней жило лишь одно чувство — глухое, тяжёлое, как камень на дне колодца. И одна мысль, которую она повторяла про себя, как молитву, всю ту бесконечную дорогу через море:

«Корень цел. Корень цел. Я жива».

Глава 2. Гавань Эфеса

Разбойники не повезли пленников прямо на продажу. Почти месяц их держали в сырой пещере на каком-то пустынном островке, где не было ничего, кроме камней, колючего кустарника да чаек. Кормили раз в день — горстью ячменя и кислой водой из бурдюка. Двое парней с разбитыми лицами попытались бежать; одного поймали и избили так, что он больше не поднялся, другого не нашли вовсе, и никто не знал, утонул ли он или уплыл к свободе.

Потом пришёл корабль. Большой, пузатый, с выцветшим парусом и глазами, нарисованными на носу, как у всех греческих судов, чтобы корабль видел дорогу. Хозяин его, сириец по имени Тимократ, долго ходил между пленниками, щупал им руки, заглядывал в рот, как скупщик скота на торгу, и спорил с главарём разбойников о цене. Сторговались к вечеру. Тимократ был работорговцем и знал своё дело: он не покупал краденый товар открыто, но умел сделать так, чтобы на рынке никто не спросил, откуда у него родосские девушки.

— Вас продали за долги, — растолковал он пленникам на палубе, ковыряя в зубах щепкой. — Ваши отцы задолжали мне и расплатились вами. Так и будете говорить, если кто спросит. А кто скажет иначе — тому отрежу язык. Мне немой раб не дешевле говорящего.

Плыли пять дней. Пленников держали в трюме, среди мешков с зерном и амфор с маслом, и выпускали на палубу лишь раз в день — подышать. В один из таких часов Талия увидела на горизонте землю. Сначала это была лишь тёмная полоса, потом из неё проступили горы, поросшие лесом, а у их подножия — что-то белое, сверкающее, раскинувшееся по холмам, как стадо овец на пастбище.

— Эфес, — сказал старый гребец, сидевший рядом с ней на скамье. — Первый и величайший город Азии. Так он сам себя называет, и спорить с ним никто не смеет.

К городу шли не прямо с моря. Эфес стоял в глубине залива, и к его гавани вёл длинный канал, прорытый от устья реки Каистр. Река несла с гор столько ила и песка, что море год за годом отступало от города, будто не желало больше касаться его стен. Гребцы ругались вполголоса: канал опять обмелел, и корабль то и дело задевал дно. По берегам стояли плоты для расчистки дна; на них полуголые рабы поднимали со дна тяжёлые корзины с чёрной вонючей грязью и сваливали её на берег. Работа эта не кончалась никогда — стоило людям остановиться хоть на одно лето, и гавань затянуло бы илом.

Но вот канал расширился, и перед Талией открылась гавань.

Она видела гавани Родоса и думала, что больше гаваней на свете не бывает. Она ошибалась. Эфесская гавань была похожа на огромную каменную чашу, до краёв налитую кораблями. Их были сотни — тяжёлые александрийские зерновозы с высокой кормой, быстрые либурны, рыбачьи лодки, плоскодонные речные барки, гружённые лесом и шерстью из глубины Азии. Над водой стоял несмолкаемый гул: скрипели канаты и блоки, кричали гребцы, лаяли собаки, чайки дрались над рыбными отбросами. Вдоль всей набережной тянулись склады с колоннадами, и под их навесами грузчики, согнувшись в три погибели, таскали мешки, бочонки, тюки, связки кож. Пахло смолой, гнилыми водорослями, пряностями, мокрым деревом и рыбой — особенно рыбой.

— Здесь, говорят, стоял когда-то флот самой Клеопатры, — сказал гребец, проследив за её взглядом. — Двести кораблей привела она сюда, чтобы плыть с Антонием против Октавиана. Мой дед рассказывал, а ему — его дед. Вся гавань была забита египетскими судами, на мачтах — пурпурные паруса, а сама царица спускалась на берег по сходням, устланным коврами. Целую зиму они пировали в Эфесе, будто уже победили. А потом была битва при Акции — и всё кончилось.

Талия смотрела на гавань и пыталась представить пурпурные паруса и царицу на коврах. Но видела лишь грязную воду, в которой плавали дынные корки, и чаек над ней.

Выше гавани, на склоне холма, белел огромный театр — полукруг из каменных скамей, такой широкий, что в нём, казалось, мог уместиться весь Родос. Дальше, по холмам, громоздились храмы, колоннады, крыши богатых домов. А ещё дальше, на равнине, в стороне от города, сверкал на солнце какой-то исполинский лес мраморных колонн.

— Артемисион, — благоговейно прошептал гребец и сделал рукой знак, отводящий беду. — Храм Великой Артемиды. Одно из семи чудес света. Его колонны выше любой корабельной мачты, а внутри стоит богиня, которая, говорят, упала прямо с неба. Кто прибежит к её алтарю, того никто не смеет тронуть.

— Даже беглого раба? — тихо спросила Талия.

Гребец посмотрел на неё долгим, невесёлым взглядом.

— Даже беглого раба, девочка. Если добежит.

Корабль Тимократа причалил у дальнего конца набережной, где стояли суда поплоше. Пленников вывели на берег, связали в ряд одной верёвкой, как мулов в караване, и повели через город. Талия шла, спотыкаясь на каменных плитах, и не могла оторвать глаз от улиц. Колоннады с лавками, где торговали всем на свете — от сирийских тканей до индийского перца. Фонтаны, из которых била чистая вода. Статуи на каждом шагу — боги, императоры, какие-то знатные горожане в мраморных тогах. Носилки богачей, которых несли на плечах рослые рабы. Писцы, сидящие у ворот прямо на земле со своими табличками. Нищие. Жрецы. Дети, гоняющие обруч.

И над всем этим — равнодушное, слепящее солнце Азии.

Невольничий торг шёл на большой четырёхугольной площади у гавани, которую эфесцы называли Торговой агорой. Её окружали двухъярусные портики с лавками, а посредине стояли солнечные часы и водяные, чтобы купцы знали время сделок. Вход на площадь со стороны города вёл через высокие мраморные ворота — их когда-то построили два вольноотпущенника императора Августа, Мазей и Митридат, в благодарность своему господину, даровавшему им свободу. Надпись над воротами, вырезанная огромными буквами по-латыни и по-гречески, прославляла Августа и его семью, а на боковом пролёте были слова, смысл которых Талии, ещё не знавшей латинских букв, растолковали много позже: «MAZAEVS ET MITHRIDATES PATRONIS» — «Мазей и Митридат — своим покровителям».

Талия прошла под этими воротами, не подняв глаз. Она не знала тогда, что пройдёт под ними ещё не раз — и совсем другой.

Рабов продавали в дальнем углу площади, на деревянных помостах. Перед тем как вывести на помост, Тимократ велел своим людям вымазать пленникам ноги мелом — таков был обычай, и римляне называли таких рабов «кретати», «мелованные»: белые ступни означали, что раб привезён из-за моря и продаётся впервые. На шею каждому повесили табличку, где было написано, откуда он родом, чем болел и какие у него пороки. На табличке Талии значилось: «Родосская. Девица. Здорова. Ткёт. Нрав покорный».

Последнее было ложью. Но этого Тимократ знать не мог.

Её вывели на помост в полдень, в самый зной. Внизу толпились покупатели — купцы, управляющие богатых домов, хозяева мастерских, просто зеваки. Кто-то лениво торговался, кто-то грыз жареный горох, кто-то громко отпускал шуточки. Глашатай выкрикивал достоинства товара:

— Девица с Родоса! Здорова, как молодая кобылица! Ткёт тонкую шерсть! Годится в дом, в мастерскую, к прялке! Кто даст больше?

Талия стояла неподвижно, глядя поверх голов на далёкую полоску моря за крышами складов. Где-то там, за этим морем, остался Родос. Остался отец — живой или мёртвый, она не знала. Осталась её жизнь.

Торговались вяло. Девушек на рынке в тот день было много, и стоила Талия недорого. Наконец из толпы протиснулся грузный человек в дорогой, но засаленной тунике, с перстнями

на толстых пальцах. Его вёл под руку управляющий — худой, желчный грек с вощёной табличкой у пояса.

— Руки покажи, — бросил толстяк.

Талия протянула руки. Он взял их в свои, влажные и мягкие, и долго вертел, разглядывая.

— Крепкие, — сказал он управляющему. — Ткать ей у нас не придётся, а рыбу потрошить сгодится. Гален, дай ему восемьсот сестерциев — и ни асса больше.

— Тысячу двести, господин! — завопил Тимократ. — Она же девица, с Родоса!

— Девиц у меня и без того хватает, — усмехнулся покупатель. — А рыбе всё равно, кто её чистит. Девятьсот — или я ухожу.

Ударили по рукам на девятистах. Так Талия, дочь Феокла, винодела из-под Линда, стала собственностью Корнелия, римского купца и хозяина засолочных мастерских эфесской гавани. Вместе со свободой она лишилась и своего имени: в записях управляющего Галена её отметили просто — «родосская девка, одна, для чанов».

Глава 3. Рыбные чаны

Запах тухлой рыбы, въевшийся в кожу, в волосы и, казалось, в самые кости, — вот что вскоре заменило Талии прежнюю жизнь.

Засолочные мастерские Корнелия стояли на южном краю гавани, подальше от богатых кварталов, — там, куда ветер с моря уносил их смрад к болотам, а не к домам почтенных граждан. Это был целый городок за глинобитной стеной: длинные навесы на столбах, под ними — ряды каменных чанов, обмазанных изнутри известковым раствором с толчёным кирпичом, чтобы не пропускали рассол; склады с солью, сложенной в белые горы выше человеческого роста; гончарня, где обжигали амфоры; конюшня для мулов; и в самой глубине двора — низкое, без окон, строение, разгороженное на тесные каморы, где спали рабы.

Корнелий разбогател на гаруме. Этот рыбный рассол римляне любили так, что не мыслили без него стола: им приправляли и мясо, и овощи, и даже сладкие блюда; его разводили водой и пили больные; им лечили раны и укусы собак. Лучший гарум стоил дороже самых дорогих благовоний, худший шёл в солдатские котлы. Корнелий делал и тот, и другой, но больше — худший: на нём, как он любил говорить, «деньги делаются быстрее, потому что бедняков на свете больше, чем богачей».

Дело было нехитрое и страшное. Рыбаки привозили на рассвете полные лодки мелкой рыбы — анчоусов, скумбрии, сардин. Рабы потрошили её, а иногда бросали в чаны целиком, вместе с кишками и кровью, перекладывая слоями соли — слой рыбы, слой соли, снова рыба, снова соль, — пока чан не наполнялся доверху. Затем чан оставляли на солнце. Неделями, месяцами рыба томилась под зноем, разлагалась, превращалась в бурую кашу. Время от времени её перемешивали длинными вёслами, и тогда над мастерскими поднималась такая вонь, что непривычный человек падал без чувств. Наконец в чан опускали плетёную корзину, и в неё медленно просачивалась жидкость — это и был гарум. А то, что оставалось на дне, — густой рыбный осадок, который римляне называли аллеком, — продавали самым бедным за гроши.

Каждое утро Талии начиналось у этих чанов. Ей, как и десяткам других, велено было потрошить рыбу. Нож в одной руке, рыбина в другой: надрез, большой палец внутрь, кишки — в корзину, рыбу — в чан. И снова. И снова. Сто раз, тысячу раз за день, пока руки не переставали слушаться. Соль разъедала каждую царапину, острые плавники и чешуя ранили пальцы, и к вечеру ладони были в крови. Ночью раны подсыхали, а утром открывались снова.

Первые недели Талия плакала по ночам, уткнувшись в соломенную подстилку, чтобы никто не слышал. Плакала по отцу, по Родосу, по своему ткацкому станку. Потом перестала. Не потому, что смирилась, — просто слёз не осталось.

Рядом с ней спала Сира — немолодая сирийка с изрезанным морщинами лицом и удивительно тихим голосом. Она попала к Корнелию так давно, что сама не помнила когда, и знала о мастерских всё. Это она научила Талию заматывать пальцы тряпицей, смоченной в масле, чтобы соль меньше жгла. Это она показала, как стоять у чана, чтобы спина не так болела к вечеру. Это она шепнула в первую же ночь:

— Не смотри Гатту в глаза. Он этого не любит. И никогда не плачь при нём — он от этого звереет.

Гатт служил надсмотрщиком. Говорили, что когда-то он бился гладиатором в Смирне и лишился глаза на арене, а потом его, изувеченного и ненужного, продали Корнелию. Был ли он сам рабом или вольноотпущенником, не знал никто — Гатт об этом не говорил. Кожа у него была тёмная, задубелая, похожая на старую подошву, а на месте левого глаза зияла сморщенная впадина. Он никогда не расставался с плетью из воловьей жилы и пускал её в ход по любому поводу — и без всякого повода.

Дни тянулись, похожие друг на друга, как рыбины в корзине. Подъём до рассвета, по удару в медный котёл. Миска ячменной похлёбки. Чаны. Полуденная передышка, когда рабам давали по куску хлеба и по горсти маслин. Снова чаны до темноты. Похлёбка. Сон. Раз в несколько дней — праздник: Корнелий жертвовал богам, и рабам перепадало немного мяса и разбавленного вина. Тогда в каморах пели песни на всех языках — фракийские, сирийские, египетские, — и Талия впервые за долгое время улыбалась, слушая, как старый фракиец Дав, огромный, косматый, похожий на медведя, выводит тонким, почти женским голосом песню своих гор.

Из-за Дава Гатт впервые и заметил Талию.

Это случилось на исходе второго года её неволи. Был душный, безветренный день; над чанами висела такая вонь, что слезились глаза. Дав нёс к чану тяжёлую корзину со скумбрией. Он уже несколько дней кашлял кровью и шёл медленно, тяжело дыша.

— Живее, фракийская падаль! — Гатт с размаху опустил плеть ему на спину. Дав пошатнулся, упал на колени и выронил корзину; скумбрия веером рассыпалась по скользким плитам. Гатт снова занёс плеть над головой несчастного: — Я научу тебя крепко стоять на ногах, порченый мешок с костями!

Всё случилось так быстро, что Талия и сама не поняла, как решилась. Она стояла рядом — и шагнула вперёд, заслонив упавшего собой. Её пальцы, огрубевшие от соли, перехватили руку надсмотрщика чуть выше запястья и сжались, как клещи.

Во дворе мастерских разом стихло. Замерли ножи. Замерли вёсла в чанах. Сира, стоявшая у соседнего чана, побелела и прижала ладонь к губам.

— Если ты забьёшь его, Гатт, господину придётся покупать на рынке нового раба, — сказала Талия негромко, но так, что слышали все. — А фракийцы нынче в цене. Не ты ли станешь объяснять Корнелию, куда подевались его денарии?

Гатт тяжело задышал, лицо его перекосилось от ярости. Ни одна рабыня ещё не смела ему перечить. Его единственный глаз впился в неё, как рыболовный крючок. Талия не опустила взгляда — хотя Сира и учила её не смотреть надсмотрщику в глаза.

Он вырвал руку, но плеть опустил.

— Слишком много думаешь для говорящего орудия, девка, — процедил он. Так, «инструментум вокале», говорящим орудием, называли рабов римские хозяева — в отличие от вола, орудия мычащего, и плуга, орудия немого. — Марш к чанам. Рыбья чешуя быстро выбьет дурь из твоей головы. А я тебя запомню.

Талия вернулась к чану. Пальцы её снова погрузились в соль. Руки дрожали — но не от страха. От чего-то другого, чему она ещё не знала имени.

Вечером, в каморе, Дав долго сидел возле её подстилки, не говоря ни слова. Потом положил ей на колени что-то маленькое, тёплое. Это была фигурка, вырезанная из оливкового корня, — птица с распахнутыми крыльями.

— У нас в горах такую вешают над колыбелью, — сказал он хрипло. — Чтобы ребёнок вырос свободным. Мне она уже не нужна.

Через месяц Дав умер — от кашля, тихо, во сне. Его вынесли за ворота на рассвете, и никто, кроме Талии и Сиры, о нём не заплакал. А деревянная птица осталась у Талии. С тех пор она носила её на шнурке под туникой.

— Зачем ты это сделала? — спросила её Сира в тот день, когда Дава унесли. — Гатт тебе этого не простит. Он ждать умеет.

— Не знаю, — честно ответила Талия. А потом, помолчав, добавила: — Отец говорил: раб умирает тогда, когда соглашается со своими оковами.

— Твой отец не был рабом, — вздохнула Сира.

— Нет, — сказала Талия. — И я им не буду. Только телом. А телом — это ещё не навсегда.

Кожа на её руках по-прежнему горела, трескалась и кровоточила, а к вечеру покрывалась жёсткой коркой. На запястьях её навсегда остались тонкие белые рубцы — безжалостные отметины рабского труда. Но с того дня, засыпая на соломе, она больше не чувствовала себя сломленной. Она лежала в темноте с открытыми глазами, сжимала в кулаке деревянную птицу и думала.

Думала о том, чему её учила мать.

Глава 4. Ночные сосуды

Простой гарум, что делали в мастерских Корнелия, был дешёв, резок на вкус и мутен. Его брали бедняки да поставщики, кормившие гребцов и солдат. От него першило в горле, и пах он так, что честные хозяйки держали кувшин с ним подальше от дома, на дворе. Талия, нюхавшая этот рассол с утра до ночи, всякий раз вспоминала кушанья своей матери — и думала: а если бы?..

Если бы рыбу брали свежую, не залежавшуюся в лодках до полудня? Если бы клали соли не горстями, на глаз, а с расчётом? Если бы добавить трав — тех самых, что мать растирала в ступке у очага? И вина — капля доброго вина смягчает любую резкость…

Эта мысль не давала ей покоя много ночей. И однажды она решилась.

Труднее всего было достать травы. Рабыне не позволялось выходить за ворота мастерских, а внутри, на утоптанной земле, не росло ничего, кроме чахлой лебеды. Помог случай — и мальчишка-водонос по имени Мелитон.

Мелитон был сыном вольноотпущенницы из нижнего города. Каждое утро он приводил к воротам мастерских ослика с бурдюками воды из городского водопровода и, пока рабы разгружали его, болтал со всеми подряд — быстрый, худой, загорелый до черноты, с вечно ободранными коленками. Он знал всё и всех в Эфесе: какой корабль пришёл из Александрии, кто из богачей устраивает пир, где на рынке продают ворованное. Талия подружилась с ним просто: однажды отдала ему свою дневную горсть сушёных смокв, когда увидела, какими голодными глазами он на них смотрит.

— Ты ходишь в горы? — спросила она его на следующий день, вполголоса, пока Гатт был занят у дальних чанов.

— Хожу, — пожал плечами Мелитон. — На Коресс, за хворостом. А что?

— Там растёт дикий тимьян. И розмарин. Принеси мне охапку — получишь смоквы.

Мальчишка посмотрел на неё с любопытством, но спрашивать ничего не стал. В Эфесе рано учились не задавать лишних вопросов.

Коресс — так называли высокую гору, что подымалась над городом с юга, каменистую, поросшую соснами и душистыми кустарниками. По её северному склону, над главными улицами, лепились дома знатных эфесцев, а выше, где кончалась застройка, начиналась дикая земля: известняковые уступы, пастбища коз, заросли тимьяна, ладанника и шалфея. Весной, говорил Мелитон, вся гора гудит от пчёл, а запах стоит такой, что голова кружится.

Через три дня он принёс первую охапку. Талия спрятала травы под рубахой и всю ночь, лёжа на соломе, вдыхала их запах. Пахло домом. Пахло материнскими руками.

Сосуды она взяла в гончарне — бракованные, с трещинками, которые всё равно предназначались на выброс. Таких там скапливались десятки, и никто их не считал. Легче всего было с солью: она лежала в мастерских горами. Рыбу она откладывала тайком, днём, — самую свежую, самую мелкую, только что привезённую рассветными лодками.

Прятать сосуды пришлось под дощатым настилом старой пристани за мастерскими. Пристань эту давно забросили — канал у неё обмелел, — и сюда никто не ходил, кроме крыс и бродячих кошек. Под настилом было сухо и темно, а меж досками пробивалось солнце: ровно столько, сколько нужно.

Первый сосуд пропал через неделю. Талия положила слишком мало соли, и рыба протухла, не успев просолиться, — запах был такой, что она едва не выдала себя, когда открывала крышку. Второй разбили крысы. Третий… третий она открыла через два месяца, дрожа от нетерпения, — и чуть не заплакала от разочарования. Травы дали горечь, но горечь грубую, лекарственную, а сам рассол остался мутным и резким, как обычный гарум, только хуже.

— Брось ты это, — шептала ей Сира, которая одна знала её тайну. — Поймают — запорют. И ради чего?

— Ради того, чтобы помнить, что я больше, чем мои руки, — отвечала Талия.

Она не бросила, а начала думать — так, как думала когда-то её мать, стоя у очага. Почему рассол мутный? Потому что рыбу кладут с кишками и кровью, и всё это гниёт вместе. Значит, надо брать только чистую, выпотрошенную, промытую в морской воде. Почему травы горчат грубо? Потому что их бросают сразу, и за месяцы они перепревают. Значит, их надо класть позже, когда рассол уже начнёт созревать, — так мать добавляла тимьян в похлёбку в самом конце, а не в начале. А вино?

Вино было самым трудным. Простое кислое вино, которое иногда давали рабам по праздникам, тут не годилось. Нужно было вино густое, тёмное, сладкое — такое, чтобы смягчило резкость соли.

И снова помог Мелитон.

— Маронейское, — сказал он важно, когда Талия, путаясь, объяснила ему, что ищет. — Фракийское. Его возят корабельщики с северных берегов. Оно чёрное, как кровь, и сладкое, как мёд. Его ещё Гомер воспевал, — добавил он, явно повторяя чьи-то слова. — Будто бы этим вином Одиссей опоил циклопа.

— Сможешь достать?

— У фракийцев в гавани всегда можно что-то достать, — хитро прищурился мальчишка. — Если есть чем платить.

Платить было нечем. Но Талия вспомнила о деревянной птице Дава — и о том, что Мелитон давно на неё заглядывался. Ничего другого своего у неё не было. Она отдала её без колебаний.

— Ты дурёха, — сказала Сира, узнав об этом. — Отдала память о человеке за кувшин вина.

— Дав подарил мне её, чтобы я стала свободной, — ответила Талия. — Вот я и плачу ею за свободу.

Маленький кувшинчик маронейского вина она спрятала под настилом, словно драгоценность. Теперь всё было готово.

Четвёртый сосуд она закладывала так, будто совершала обряд. Самая свежая мелкая рыба, выпотрошенная и промытая в морской воде. Морская соль — не горстями, а мерой — глиняной чашкой: на три меры рыбы одна мера соли. Сосуд закрыт плотно, крышка обмазана глиной. Через месяц — сосуд открыт, рассол слит, и в него — пучок свежего тимьяна, веточка розмарина и вино, ровно столько, сколько помещается в половинку скорлупы грецкого ореха. И снова крышка, снова глина.

Однажды ночью, когда она возилась под настилом, наверху послышались шаги. Тяжёлые, медленные, знакомые. Талия замерла, прижавшись к сырой свае и не дыша. Сквозь щели настила она различила тёмный силуэт — широкий, приземистый, с плетью в руке.

Гатт.

Он остановился прямо над ней. Постоял. Принюхался — она слышала его тяжёлое сопение. Над мастерскими всегда стояла вонь, но под настилом пахло иначе — травами, вином.

— Кто здесь? — хрипло спросил он в темноту.

Талия закусила губу до крови. Где-то рядом, в темноте, пискнула крыса, зашуршала, пробежала по доскам. Гатт выругался, пнул настил и пошёл дальше. Шаги его стихли.

Она просидела под настилом до рассвета, не в силах пошевелиться. А когда наконец вылезла, вся в паутине и грязи, и тихо проскользнула в камору, Сира открыла глаза и посмотрела на неё долгим взглядом.

— Он ищет, — сказала она. — Он чует. Он ждёт, Талия.

Долгие месяцы рассол зрел под палящим южным солнцем. Талия сама следила, чтобы сосуды не перегревались, и укрывала их мокрой рогожей. Каждую ночь она пробиралась к настилу, проверяла крышки, слушала, не идут ли шаги. Каждый день стояла у чанов, потрошила рыбу и делала вид, что её ничего не занимает, кроме ножа и чешуи.

А когда наконец она сняла крышку с четвёртого сосуда, то поняла, что совершилось чудо.

Рассол утратил тошнотворный запах гнили. Он стал прозрачным, янтарным, как смола родосской сосны, с тончайшим пряным ароматом, в котором угадывались соль моря, солнце и терпкий виноград. Талия опустила в него палец, коснулась губами — и закрыла глаза.

Это был вкус её детства. Вкус материнской кухни. Вкус дома.

Она сидела под настилом в темноте, обхватив сосуд руками, и беззвучно плакала — впервые за много месяцев. Но это были другие слёзы.

Глава 5. Янтарный рассол

Случай показать себя выпал внезапно — как это всегда и бывает с настоящими случаями.

В ту осень в Эфес должен был прибыть новый проконсул провинции Азия. Прибытие наместника было для города событием великим: его встречали с музыкой и цветами, в его честь устраивали игры в театре и пиры в лучших домах, а богатые горожане наперебой старались угодить ему, ибо от проконсула зависело многое — подати, суды, подряды, милость императора. Корнелий давно мечтал поставлять гарум к столу наместника. Это дало бы ему славу и доступ в дома, куда купцов его сорта прежде не пускали.

И мечта его, казалось, сбывалась. Один из эфесских богачей, дававший первый пир в честь проконсула, заказал у Корнелия двадцать амфор лучшего гарума — того, что он делал понемногу, по особому способу, и продавал втридорога. Корнелий самолично прибыл в мастерские накануне, чтобы проверить заказ.

Управляющий Гален встретил его, бледный как известь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.